

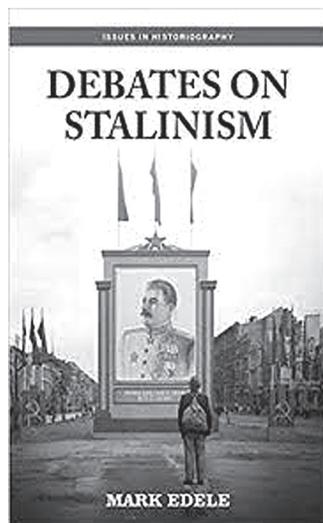
# Рецензии

## ИСТОРИЯ ОДНОГО «-ИЗМА»

### *Debates on Stalinism*

MARK EDELE

Manchester: Manchester University Press,  
2020. – 312 p.



Книга видного австралийского историка стала первой публикацией манчестерской

серии «Проблемы историографии», которую посвятили российской тематике. Ее автор, преподающий российскую историю в Университете Мельбурна, особо подчеркивает: его взгляд на сталинизм – это взгляд англоязычного историка, принадлежащего к западной научной корпорации. Читателю же подобное сужение «зоны обзора» только на руку, поскольку гипотетический труд, излагающий всю историю зарождения, эволюции и использования концепта «сталинизм», во-первых, не влез бы в один том, а во-вторых, не читался бы столь же легко. Рамки предмета исследования обрисованы автором довольно четко: «Эта книга не о политической модели и не об идеологическом конструкте, а о попытках понять конкретное общество – Советский Союз при Сталине – в специфических условиях места и времени» (р. 3). Основу повествования составило живое исследование того научного поля, где изучается сталинизм, а также обзор теоретических конструкций, предложенных препарировавшими его специалистами. Разумеется, среди



**НОВЫЕ  
КНИГИ**

269

персонажей, на которых автор фокусирует свое внимание, не могли не оказаться такие звезды западной исторической науки, как Моше Левин, Ричард Пайпс, Шейла Фицпатрик, Рональд Суни, Стивен Коткин.

Впрочем, ценность работы не ограничивается только этим. Сегодня историки сходятся в том, что государство и общество, существовавшие с 1928-го по 1953 год, менялись неоднократно, а «сталинизм» есть скорее зонтичное понятие<sup>1</sup>. Историография, то есть рассказ о том, как прошлое в разные времена наделялось смыслом, исключительно важна для понимания политической культуры, которая превратила перетолковывание и реинтерпретацию подобных смыслов в основную стратегию. В современной России термин «сталинист» остается расплывчатым: он накрывает целый спектр установок и ценностей, объединяемых, пожалуй, лишь уязвленностью державного чувства. Но что сталинизм как явление по-прежнему остается проблемой, то есть требует дефиниций, постановки вопросов и поиска ответов на них, самоочевидно лишь для ученого. В российском же публичном поле эта мысль парадоксально стерта, причем, несмотря даже на то, что наше общество постоянно оглядывается на «отца народов». Растворившийся в будущем, он все чаще выступает в буквальном значении своего титула – как обожествленный прародитель<sup>2</sup>.

Как бы то ни было, сталинизм остается понятием, которое употребляется часто, а продумывается редко. Рецензируемую книгу можно рассматривать как ценное напоминание о том, что перед нами предмет давно длящегося и далеко не завершенного спора. Еще одна важная особенность заключается в том, что это не только национальная, но и международная тема.

По воле бурного XX столетия для миллионов людей на разных континентах Сталин и его государство стали частью не мировой, но семейной и даже личной истории. Ее шлейф тянется как за авторами книг о сталинизме, так и за их читателями, придавая необычайную сложность процессу изучения сталинского прошлого и одновременно обуславливая его зримую инерционность. Даже тому историку, который отдает себе отчет, до какой степени он сам нагружен культурным багажом, придется преодолевать еще и сопротивление нарративов, задаваемых научными школами.

В книге отвергается встречающееся порой представление об истории как о безграничном нагромождении равноценных мнений. Как доказывает автор, историография – это дебаты, итогом которых выступает приближение к бесконечно далекой, но все-таки истине. А вот тезис, что «у каждого была своя правда» и потому все мнения, как и все источники, равноценны, оказывается эвристически пустым. Безусловно, стороны порой могут «сойтись на несогласии», но это никогда не исчерпывает предмета спора; в итоге вопросы все равно будут переформулированы, к ним подойдут с другой стороны и рассмотрят под иным углом зрения – и не исключено, найдут для них ответы. Профессор Эделе начинает свой историографический экскурс именно с той точки, когда простые ответы, рожденные «холодной войной», начали терять состоятельность, а ученое сообщество отказалось довольствоваться интеллектуальным меню из прошлого.

Рассказ об этом поиске разбит на три блока, которые охватывают, во-первых, научные биографии главных действующих лиц; во-вторых, выдвигавшиеся ими теоретические подходы и, в-третьих, современ-

**1** См., например: Добренко Е. *Поздний сталинизм. Эстетика политики*. М.: Новое литературное обозрение, 2020. Т. 1. С. 10.

**2** См.: Архипова А. «Сталин без сталинизма» // InLiberty. 2017. 29 июня (<https://old.inliberty.ru/blog/2616-Stalin-bez-stalinizma>).

ное состояние дискуссии. История научного поля выстроена вокруг напряжений, возникающих в нем. Приступая к анализу, автор сразу же погружает читателя в жаростные баталии 1986–1987 годов, разразившиеся после статьи Шейлы Фицпатрик в «The Russian Review»<sup>3</sup>. Из этого конфликта тянутся нити, ведущие в прошлое и будущее; к авторам, а также течениям, придуманным ими или вокруг них.

Начиная с глубоко политизированной дискуссии, Эделе постепенно уходит от задаваемого ею членения западной советологии на поколения. Раньше, стоит признать, было проще: «тоталитарная», «ревизионистская» и «постревизионистская» школы сменяли друг друга вслед за эрами социальной, политической и культурной истории. Книга между тем концентрируется не на преемственности, а на разрывах в гладкой схеме восхождения к «правильному» методу. По ходу чтения читатель убеждается в том, что биографии самых ярких представителей школ невозможно втиснуть в поколенческие рамки, а споры между учеными в основном диктовались нежеланием понять друг друга и личными амбициями, а не эволюционными сдвигами научной мысли. Наконец, историки регулярно испытывают любопытные приступы амнезии: усвоив идеи предшественников или даже оппонентов, они тут же забывают, у кого именно почерпнули интересную мысль, воздвигая на чужом и присвоенном фундаменте собственные манифесты. Знаменитая мысль Эрнеста Ренана о том, что забвение есть главный элемент создания национальной памяти, применима и к историографии.

В целом подход автора можно назвать конструктивистским: в его интерпретации исследовательское поле есть то, что строят сами ученые, а спор с очередным «Н-измом» и его адептами – чаще всего разговор с воображаемым, вполне в духе

Бенедикта Андерсона, оппонентом. Если в 1980-е «тоталитарная» модель была выдумана ее критиками, то в тот же период «ревизионизм» оформился в качестве значимого «Другого» для «тоталитарной» школы. Позднее «постревизионисты» называли себя так именно потому, что верили в последовательную смену научных поколений (р. 105, 160–162). Иными словами, историк есть не только профессия, но и идентичность. А значит, и смотреть на историка нужно с учетом всего, что мы знаем о жизни идентичностей. Научные когорты, группы, школы более чем реальны, но у них всегда имеется собственная мифология истоков.

Именно через такую призму в книге представлено влияние политики на историографию. На ее страницах можно встретить как левых «попутчиков», так и правых «ястребов» – *fellow travellers* и *cold warriors*, – но авторский замысел не предполагает разделения историков эпохи «холодной войны» на эти категории по каким-то формальным признакам. Скорее политические установки и ориентиры прорастают на переплетении личного опыта, социального окружения и профессиональных пристрастий. В этом смысле показательно, как автор представляет читателю личные истории Моше Левина, Ричарда Пайпса и Шейлы Фицпатрик – или, соответственно, «проторевизиониста», «архитоталитариста» и «архиревизионистки». Левин и Пайпс – сверстники, польские евреи, бежавшие от нацистов, один на Восток, другой на Запад. По отношению к сталинскому СССР они заняли диаметрально противоположные позиции, несмотря на общий, казалось бы, культурный багаж. У обоих интерес к Советскому Союзу подпитывался персональным опытом, но объяснить этот опыт только принадлежностью к какому-то конкретному поколению не получается, по-

3 FITZPATRICK S. *New Perspectives on Stalinism* // The Russian Review. 1986. Vol. 45. № 4. P. 357–373.

скольку в него были включены и научная карьера, и личные знакомства, и, наконец, то, что Ричард Пайпс имел преподавательскую жилку, а Моше Левин был скорее пылким эссеистом.

Главы, посвященные этим двум персонажам, а в особенности следующая за ними глава о пути Шейлы Фицпатрик, многое говорят об устройстве профессии и ее рисках. Порой кажется, что она есть сочетание несочетаемого: ведь преподавание требует дидактики, и прежде всего знания чужих трудов, исследование предполагает скепсис и специализацию, а организация науки, без которой не бывает ни первого, ни второго, предусматривает наличие крепких нервов и лидерских качеств. Лавирование между этими полюсами – сложная задача. Профессиональная конкуренция неизменно остра, даже у мэтров погоня за надежной академической позицией занимала годы и годы, а «производственные травмы» были вполне ощутимыми. Так, Фицпатрик, попавшая в 1986–1987 годах под перекрестный огонь критики слева и справа, впала в глубокую депрессию и на несколько лет вообще перестала писать. Еще более печальной оказалась история Роберта Терстона – автора монографии «Жизнь и террор в сталинской России»<sup>4</sup>. Этот ученый создал едва ли не апологетическую картину сталинского СССР и так увлекся борьбой с правыми, что за пределами упростил позицию собственных оппонентов, превратив ее в примитив. В результате по нему ударили из крупного калибра абсолютно все критики; пережив личное и профессиональное падение, Терстон радикально порвал с историей – и переключился на изучение кофе (р. 169).

Автор подводит читателя к понятию «тоталитаризм» и современному его прочтению, предварительно описав весьма бурную, но не слишком оправданную борьбу с «тоталитарной моделью» – то есть

с упрощенным видением построений Карла Фридриха и Збигнева Бжезинского. Причем основной акцент делается им не на широко известной эволюции понятия или же уязвимости знаменитых «шести пунктов»: Эделе снова рисует картину, в которой действуют конкретные исследователи-личности, а не научные поколения, показывая, до какой степени упрощает (и искажает) ситуацию классическая схема «тезис – антитезис – синтез», где венцом оказываются работы о советском субъекте и советском варианте модерности.

В принципе, изучение смоленского партархива, оказавшегося в США, или анализ интервью Гарвардского проекта можно было бы считать «ревизионистскими» по духу инициативами – но только если бы их не вели специалисты, никак не вписывающиеся в поколение «ревизионистов». Идеи Мишеля Фуко и Пьера Бурдьё, использованные Стивеном Коткиным, позволили последнему занять позицию за пределами установленной рамки и открыть при этом новое направление работы. Интересно, что сами идеи модных на тот момент мыслителей лишь добавляли фило-софский флер, а вопрос, как функционировало сталинистское общество, который акцентировал Коткин, звучал и ранее. Об этом, в частности, писал Джеффри Хоскинг, специалист по социальной истории – по возрасту входивший в поколение «ревизионистов», но при этом державшийся модели «тоталитаристов».

«Холодная война» действительно превращала историков в «хладных воинов» (*cold warriors*), а политические убеждения заранее вытачивали русло для течения их мысли. Если для левых попытки объяснить сталинизм диктовались желанием спасти «правильный» социализм от «неправильного» Сталина, то для правых это был порыв, направленный на спасение мира

4 THURSTON R.W. *Life and Terror in Stalin's Russia, 1934–1941*. New Haven: Yale University Press, 1998.

от социализма как такового, ложного по сути. Аналогичным образом перепахивают исследовательское поле и современные политические конфликты. Тем не менее единственной по-настоящему уникальной чертой сталинизма, требующей объяснения, остается выдающаяся свирепость режима. С одной стороны, чтобы подвергнуть ее релятивизации в духе «так было у всех», приходится привлекать аналогии из истории современных и даже домодерных государств, а также их правителей. С другой стороны, попытки писать историю общества, выведя за скобки элиту, тоже не приносят успокоения, и возрождение термина «тоталитаризм» – в смысле не исторической школы, а общественно-политического явления – в 1990–2000-е объясняется не только политической конъюнктурой, но и этим фактом. Сталинский социум вовсе не был пассивной массой атомизированных недограждан. Это сложная, подвижная модель современного государства, пропитанного регулярной кампанейщиной, массовым, лишь изредка затухавшим, насилием и чрезвычайщиной. Именно в таком поле действовал советский субъект, стратегии которого сложно рассматривать в отрыве от того, о чем писали еще первые советологи.

Современные дебаты в книге отображены посредством двух животрепещущих примеров: темы украинского Голодомора и российских «исторических войн». В обоих случаях центральным оказывается вопрос о том, как катастрофы прошлого перерабатываются в сущностные национальные символы, как споры нацелены одновременно на внутреннюю и внешнюю аудиторию, а в дискурсивном поле возникает термин

«геноцид». Борьбу за право иметь свой отдельный геноцид вообще можно выделить в качестве магистральной линии исторической политики в Восточной Европе – что, разумеется, сказывается и на научной корпорации<sup>5</sup>. В России, в частности, за 2020 год был открыт десяток дел о геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной.

Говоря о России, Эделе лишь выделяет основные вехи исторической политики: высказывания президента, «законы о памяти», скандал с докторской диссертацией Кирилла Александрова<sup>6</sup>. Безусловно, и к немало-му сожалению, отечественный читатель сегодня без труда найдет, чем дополнить эти главы. Во многом объясняется это тем, что сталинизм остается ключевой темой российской политики памяти. С одной стороны, это сфера, которую активно продолжают разрабатывать ученые. С другой стороны, она оформляется и вне рамок научного дискурса, поскольку главные игроки в поле публичной истории – всевозможные политические фигуры или так называемые «эксперты» (если грубее, говоруну). Австралийский историк не мог пройти мимо очевидного факта: неясности, в какой степени российские элиты создают «волну» памяти, а в какой степени пытаются оседлать ее. Заметим, что на низовых акторов стоит обратить пристальное внимание: ведь форма «дебатов о сталинизме», в начале и середине 2000-х остававшаяся уделом маргиналов «Живого журнала» и Военно-исторического форума, уже переместилась в высокие кабинеты. Акции вроде забытого ныне «сталинобуса» или пока актуальных «двух гвоздик товарищу Сталину» одновременно копировали «высокие» приемы и

**5** См., например, случай с украинским историком Георгием Касьяновым: Тейзе Е. *СМС-сообщения от посла: как Киев отказался от неудобных историков* // Deutsche Welle. 2020. 30 сентября ([www.dw.com/ru/sms-ot-posla-kak-kyev-izbavilsja-ot-neudobnyh-istorikov/a-55105043](http://www.dw.com/ru/sms-ot-posla-kak-kyev-izbavilsja-ot-neudobnyh-istorikov/a-55105043)).

**6** В марте 2016 года историк Кирилл Александров защитил докторскую диссертацию о власовском движении, но в июле 2017-го Министерство образования и науки лишило его присужденной степени. Подробнее см.: Кузнецова Е. *Защита с генералом Власовым* // Фонтанка.ру. 2016. 2 марта ([www.fontanka.ru/2016/03/01/173/](http://www.fontanka.ru/2016/03/01/173/)); Мозжухин А. *«Борец с власовщиной – это что-то вроде профессии»* // Лента.ру. 2017. 5 октября (<https://lenta.ru/articles/2017/10/05/aleksandrov/>).

формировали среду<sup>7</sup>. Сейчас неакадемические авторы стараются подражать лучшим образцам жанра, утверждая, что занимаются наукой. Как и описанные в книге западные историки 1980-х, они бьются с нарочито упрощенной и воображаемой сущностью «коллективного Сванидзе». Народные историки и писатели с *YouTube* тоже верят в смену поколений, ведущую из созданного «либералами» мрака к свету «правильного» знания, которое неизменно оказывается слегка (или основательно) сталинским.

Взгляд на историю, складывающийся после прочтения книги, можно сравнить с современным пониманием эволюции: вместо линейной схемы-древа, венчаемой человеком, перед читателем предстает густой куст обрывающихся и повторяющих друг друга линий. Внешне похожие объекты оказываются в корне различными. В свою очередь процесс развития не имеет конца и, несмотря на то, что основан он на перекомпоновке уже имеющейся информации, способен рождать бесконечные новые комбинации, перекидывающие мостик в будущее.

Эта книга много говорит о субъективности историка и субъективна в том смысле, что фигура автора ощутимо в ней присутствует. Сам Эделе – выходец из «чикагской школы», созданной Шейлой Фицпатрик; не случайно он уделяет много внимания и ей самой, и всем «чикагцам». Но, как и было сказано, автор честно предупреждает о собственных особенностях еще в самом начале: «Другие историки написали бы другие главы – и им действительно стоит их написать» (р. 4). Хочется надеяться, что этот призыв найдет отклик.

ПАВЕЛ ГАВРИЛОВ

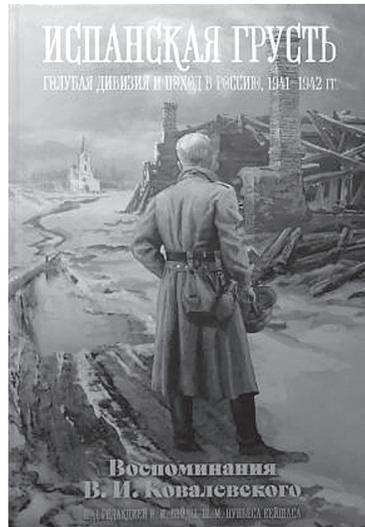
**7** Накануне 9 мая 2010 года петербургские активисты, образовавшие позднее сообщество «Народный комиссариат исторической достоверности», оплатили размещение на одном из городских автобусов большого портрета Сталина. Акция поддерживалась и рекламировалась коммунистами. См.: ГАРМАЖАПОВА А. *Сталинобус взял курс на Москву* // Фонтанка.ру. 2011. 14 февраля ([www.fontanka.ru/2011/02/14/053/](http://www.fontanka.ru/2011/02/14/053/)). Акция «Две гвоздики для товарища Сталина» – возложение красных гвоздик на могилу Сталина в дни его рождения и смерти – также проводится с 2010 года. См. аккаунт организаторов акции в «Живом журнале»: <https://r-v-f.livejournal.com/>.

### ***Испанская грусть: Голубая дивизия и поход в Россию, 1941–1942 гг.***

#### ***Воспоминания В.И. Ковалевского***

Под ред. Олега Бэйды, Шосе Нуньеса СЕЙШАСА

М.; СПб.: Нестор-История, 2021. – 208 с. – 500 экз.



Сразу же признаюсь, что жанровая маркировка этого небольшого, но очень насыщенного текста дается мне с немалым трудом. С одной стороны, это, безусловно, военные мемуары; более того, читатель имеет дело с весьма редким подвидом воспоминаний о Второй мировой войне, поскольку опубликованные записки были составлены русским белогвардейцем, воевавшим в начале 1940-х на территории СССР не в немецких частях, а в составе Голубой дивизии – 250-й дивизии вермахта, укомплектованной исключительно испанскими добровольцами. Подразделение, сформированное сразу после нападения

Гитлера на Советский Союз, отметились в первую военную зиму в боях на северо-западе Страны Советов, а позже сыграло роль в блокаде Ленинграда. Кстати, мемуары русского испанца не дали мне ответа на естественный вопрос: а что, собственно, заставило немецких стратегов отправить парней с Пиренейского полуострова в сумрачные болота Новгородской области, а скажем, не на Северный Кавказ или на юг Украины? Возможно, фюрер хотел таким образом высказать свое неудовольствие Франко, отказавшемуся от более щедрого вклада в военные усилия Германии на Восточном фронте? Как бы то ни было, приключения испанцев в России оказались горькими, их боевые успехи мизерными, а сам поход бессмысленным, о чем колоритно, хотя, к сожалению, и не очень пространно, повествует автор.

С другой стороны, это весьма необычные военные мемуары. Описывая службу фалангистов в русских лесах, автор совсем не церемонится с собратьями по оружию, постоянно и едко издеваясь над ними. Ему не нравится в испанской дивизии буквально все – от кормежки до обмундирования. Но главной бедой в глазах Ковалевского предстают сами испанцы: они отличаются чванством, жадностью, чревоугодием, блудливостью, лживостью, жестокостью, глупостью – фактически, по версии мемуариста, нет такого смертного греха, который не расцветал бы пышным цветом в рядах самой католической армии Европы, совсем недавно с блеском покончившей с республиканским безбожием. «По природе каждый испанец – *embustero*<sup>8</sup>», – безапелляционно заявляет Ковалевский, подкрепляя свое суровое суждение множеством ярких, а иногда и повергающих в изумление

примеров (с. 90). Разумеется, мысль о том, что же он сам делает в этой бесславной дружине, ни на минуту не оставляет автора. Ковалевский на протяжении всего рассказа мучается из-за того, что он, русский офицер, пришел освобождать Россию от большевиков в компании каких-то вырожденцев, воплотивших все худшее, что есть в европейском человеке. Не удивительно, что под его пером бесспорная трагедия оккупации, будучи вписанной в иберийскую рамку, вдруг начинает превращаться в нелепый фарс: вокруг царят смерть, страдания и нужда, но дурашливые испанцы все умудряются превратить в скверный анекдот – совсем в духе Чонкина или Швейка.

Голубая дивизия, насчитывавшая 12–17 тысяч военнослужащих, воевала нехорошо. «При испанской лени, – пишет мемуарист, – получилось то, что люди шли на фронт совершенно не подготовленными» (с. 91). В общей сложности на русском фронте побывали 47 тысяч испанцев, из которых пять тысяч были убиты, а четверста попали в плен (с. 40)<sup>9</sup>. Испанцы отправились на восток уже в июле 1941-го, а непосредственно на передовой оказались в октябре. Поскольку контингент нуждался в русскоговорящих переводчиках, для горстки эмигрантов, оставшихся на испанской земле после гражданской войны 1936–1939 годов, открылась манящая возможность вновь взглянуть на родину. В психологическом отношении им, возможно, было легче, нежели эмигрантам, служившим переводчиками у немцев: как отмечается в предисловии, «в отличие от многих венгерских, немецких, румынских или коллаборационистских подразделений, испанские солдаты почти не прибегали к неизбирательным и массовым

**8** Плут, обманщик, жулик (исп.).

**9** Книга снабжена большим предисловием, которое написали Олег Бэйда из Университета Мельбурна и Шосе Нуньес Сейшас из Университета Сантьяго-де-Компостелы («Белый, синий, красный»: русские эмигранты, 250-я дивизия вермахта и СССР»). Если упоминаемая мной страница находится в интервале с 3-й по 74-ю, то речь идет о ссылке именно на этот интереснейший текст, составивший треть всей публикации.

репрессиям, то есть казням гражданских лиц и заложников в качестве “мести” за партизанские действия» (с. 42). Но это, по-видимому, не избавляло наиболее совестливых из бывших офицеров Белой гвардии от душевных терзаний, а также от осознания собственной ответственности за переживаемые Россией несчастья.

Оказавшись на территории СССР, Ковалевский «был донельзя поражен той лаской и радушием, которыми был окружен по русским селам» (с. 100). «Подсоветский» человек, как именует он бывших соотечественников, оказался вовсе не таким чудовищем, каким рисовался издалека. Проблема, однако, заключалась в том, что солдаты, с которыми автор прибыл на родную землю, рассматривали местных сугубо как овец или коз, которых нужно стричь или доить, а потому вели себя безобразно. «Всякого рода воровство – это была язва Синей дивизии», – сокрушается он (с. 122). Испанцы тянули все, что плохо лежит, причем не только у мирных граждан, но и друг у друга, а также у своих менторов-союзников. Однажды они украли у крестьянки корову, у которой имелся «немецкий охранный паспорт», и Ковалевский вынужден был участвовать в расследовании этого довольно типичного, по его словам, происшествия: немецкое командование немедленно заподозрило в краже франкистов. В другой раз его «возмутил поступок одного солдата, который схватил у маленькой девочки 6–7 лет коровочку с ее добром и, увидев, что там не было ничего ценного, выбросил с презрением все на снег» (с. 139). При этом, когда речь шла о дамах постарше, испанцы неизменно норовили выказать куртуазность, такую же, впрочем, фальшивую, как и доблесть, – и имевшую четко очерченные границы.

«Чтобы удовлетворить потребность в дровах, я исходатайствовал у старосты, чтобы была разобрана одна из разбитых артиллерией изб. И для испанцев оставалось только привезти к себе бревна и попилить их.

Но и это они отказались делать. Девушки, запрягшись в ручные санки, должны были привезти эти бревна домой, а затем пилить их. *Caballeros*, которые в собственной стране за честь считали чистить чужие бо-тинки и подметать в городах улицы, здесь всякую работу считали для себя уни-зительной» (с. 152).

Интересно, что в мемуарах «русского испанца» почти не стреляют: описываемое им абсурдное и беспросветное бытие совсем не похоже на «настоящую» войну – но это не добавляет благостности. Скорее, напротив, ужас здесь просто притаился и ждет удобного момента, поскольку универсальных правил, гарантированно позволяющих выжить, в описываемом ландшафте не существует.

«Застали человека в 6–7 вечера сидящим под забором по естественным потребностям, и достаточно, чтобы пустить его “в расход”. Больше и не требовалось: он подслушивал и высматривал движение испанской армии» (с. 153).

Отвлекаясь иногда от грабежей и поборов, испанские воины отправлялись охотиться на партизан; это дело ладилось у них примерно так же, как и все остальное. «Все шло через пень-колоду», – мрачно констатирует автор (с. 88). Читая о боевых акциях франкистов, невольно задумываешься о том, что наличие на передовой столь бестолковых врагов – а ведь на их месте вполне могли оказаться немцы! – спасло жизни десяткам, если не сотням, красноармейцев и партизан. *¡Arriba España!* Скорее всего Ковалевский с этим согласился бы, настолько его потряс дикий и ненужный расстрел молодого капита-на – одного из немногих красноармейцев, которых испанской полевой жандармерии удалось взять в плен. По мнению автора, это было сделано просто в приступе паники – особой «испанской паники», «границающей с истерикой, где гложнут

способности разума и человек превращается в зверя» (с. 165).

Бывшие подданные Российской империи, взбаламученные необычайными событиями, постигшими их родину в 1917-м, отметились едва ли не в каждой войне XX столетия, причем во всех лагерях сразу. Разумеется, отечественные антикоммунисты не могли обойти стороной испанскую гражданскую войну: без малого две сотни русских сражались на стороне Франко, и, хотя франкисты их не жаловали – русские воинские звания в испанской армии не признавались и даже генералам приходилось начинать с рядовых, – некоторым в 1936–1939 годах удалось прославиться либо прижизненно, либо посмертно<sup>10</sup>. Впрочем, как отмечают авторы предисловия, на фоне воевавших за мятежников 79 тысяч итальянцев, 25 тысяч немцев или 10 тысяч португальцев вклад русских антикоммунистов выглядит более чем ничтожным (с. 24–25). По-видимому, именно этим, по крайней мере отчасти, объяснялось то пренебрежение, которое демонстрировали новые испанские власти в отношении белогвардейцев. В Голубой дивизии тем не менее было несколько русских, получивших испанское гражданство, и с частью из них Ковалевский встретился на фронте. Выжили не все, хотя самому автору мемуаров повезло: получив в феврале 1942 года ранение, он, «физически больной и морально разбитый» (с. 77), вернулся в Сан-Себастьян – где и умер, то ли в 1970-х, то ли в 1980-х, точно неизвестно.

Когда книга вышла по-испански – а это произошло за пару лет до выхода русского

издания, – на публикацию бурно (если не сказать буйно) откликнулись испанские СМИ<sup>11</sup>. Дело в том, что Ковалевский разворошил больное: правые, до сих пор чествующие Голубую дивизию за участие в крестовом походе против большевизма, по вполне понятным причинам были вне себя, а левые впали в ажиотаж из-за глубокого огорчения, постигшего правых. Помимо озабоченных граждан и профессиональных публицистов, появление мемуаров отметили и историки, причем не только испанские, но и англосаксонские. Например, книгу отрецензировала Джудит Кин, двадцать лет назад написавшая классическую работу об иностранцах, воевавших на стороне Франко, а Гуверовский институт при Стэнфордском университете опубликовал ее обзор на своем сайте<sup>12</sup>.

Каков же итог? Как мне кажется, люди, подобные Ковалевскому, принадлежат к особому разряду коллаборационистов. Отправившись на новую войну с большевиками, они сводили счеты со всеми одновременно – и с прежними врагами, и с нынешними хозяевами, и, главное, с самими собой. Автор этих воспоминаний, несомненно, совестлив: сражаясь с коммунистами, врагами, с его точки зрения безусловными и очевидными, он все-таки постоянно ломает голову над тем, его ли это война и нужно ли ему на ней быть. Патриот в его голове не дает покоя антикоммунисту, они в постоянной стычке друг с другом. К концу повествования он признается читателю, что поход домой стал для него сплошным разочарованием:

**10** Подробнее об этом см.: KEENE J. *Fighting for Franco: International Volunteers in Nationalist Spain during the Spanish Civil War*. London: Leicester University Press; New York: Continuum, 2001.

**11** Среди прочих многочисленных откликов см.: [www.elnacional.cat/es/cultura/cronica-division-azul-guardia-civil\\_373393\\_102.html](http://www.elnacional.cat/es/cultura/cronica-division-azul-guardia-civil_373393_102.html); [www.todoliteratura.es/noticia/51226/pensamiento/se-publican-las-memorias-de-vladimir-kovalevski-un-ruso-blanco-en-la-division-azul.html](http://www.todoliteratura.es/noticia/51226/pensamiento/se-publican-las-memorias-de-vladimir-kovalevski-un-ruso-blanco-en-la-division-azul.html); [www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2019/08/19/ruso-enrolado-division-azul/0003\\_201908G19P24991.htm](http://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2019/08/19/ruso-enrolado-division-azul/0003_201908G19P24991.htm).

**12** См. рецензии в: *Labour History: A Journal of Labour and Social History*. 2019. № 117. P. 231–232; [www.hoover.org/news/new-publications-feature-russian-and-eurasian-collections-hoover](http://www.hoover.org/news/new-publications-feature-russian-and-eurasian-collections-hoover).

«Не раз я и другие русские переводчики, попав в Россию, задавали себе вопрос: действительно ли советская власть ненавистна так русскому народу и что поработенное население ждет только момента, чтобы какой бы то ни было ценой сбросить это ярмо? Или, может быть, все это рассказы, искусно распространяемые немцами, чтобы оправдать свою завоевательную политику и будущее расселение России? В этом случае мы, пришедшие сюда, играем более чем некрасивую роль, предавая свою Родину и служа врагу» (с. 154).

Ковалевского можно мерить разным аршином, но вот в искренности, с которой он изобличает собственную драму «предателя» – и это, подчеркну, его собственная автодефиниция, – ему не откажешь. А если еще принять во внимание, что таких, как он, во Вторую мировую войну было немало, вывод напрашивается вполне определенный. История, взвешиваемая на современных весах, может предстать перед нами весьма неудобной материей – глядя на нее, мы порой думаем: как было бы славно, если того или этого в ней просто не было бы. Но так, увы – или к счастью, – не получается. Заблудившихся соотечественников, подобных Ковалевскому, можно и нужно осуждать, но вот делать вид, будто в нашей истории такие личности вовсе не существовали, – категорически нельзя.

В заключение скажу доброе слово в адрес специалистов, готовивших эту публикацию к печати. Олег Бэйда и Шосе Нуньес Сейшас проделали грандиозную работу: о подробнейшем семидесятистраничном предисловии я уже говорил выше, но, помимо него, книга снабжена незамеченным и исключительно качественным научным аппаратом: сноски-пояснения к персоналиям, событиям, географическим точкам занимают еще тридцать страниц. Первому из соавторов, кстати, принадлежит особая заслуга в появлении этого текста на свет: именно Олег Бэйда, работая

в 2016 году в архиве Гуверовского института в Калифорнии, обнаружил машинописную и неполную копию мемуаров, которые позже удалось восстановить благодаря их рукописному оригиналу, опять-таки случайно найденному в документальном фонде Центрального музея Вооруженных сил в Москве. Иначе говоря, за книгой, которая сейчас ушла к читателям, стоит кропотливый исследовательский труд, а также изрядная толика везения.

Андрей Захаров, доцент факультета истории, политологии и права РГГУ

### **Медиум для масс – сознание через глаз: фотомонтаж и оптический поворот в раннесоветской России**

СЕРГЕЙ УШАКИН

М.: Музей современного искусства «Гараж», 2020. – 328 с.



Едва ли найдется художественный прием, который наделялся бы в истории искусства большим значением, чем монтаж. В начале XX века техника контрастного комбинирования разнородных элементов взорвала

устойчивые модусы репрезентации и разрушила «органическую целостность» традиционного произведения искусства, воплотив в себе весь революционный порыв авангарда и стоящее за ним новое переживание мира<sup>13</sup>. Обсуждение так понятого монтажа закономерно перерастает в общий разговор о судьбах большого искусства на фоне большой истории прошлого века. Тем интереснее, как по-иному рассказывается о раннесоветском фотомонтаже в новой книге антрополога Сергея Ушакина.

Дисциплинарная принадлежность автора определяет его исследовательскую оптику. В фокусе внимания оказываются не только сами фотомонтажи, не только история искусства, но и фундирующие теоретические дискурсы, порождающие их медиа, сопутствующие им практики производства и потребления визуальных образов – иначе говоря, люди с меняющимися способами мышления и зрения, историческая антропология. Фотомонтаж первых пятнадцати послереволюционных лет истолковывается Ушакиным в горизонте того, что он называет «оптическим поворотом» – выходом в советском обществе на первый план визуальных, а не вербальных средств коммуникации в результате «масштабной и долговременной кампании по реорганизации зрительных установок советской аудитории» (с. 13). Разные эпизоды и аспекты этого процесса «формовки советского зрителя» (с. 16) и реконструируются в работе.

Первые главы книги обрисовывают социокультурные контексты, в которых зародился советский фотомонтаж. Во-первых, художественная практика поддерживалась теоретическими дискурсами, которые противопоставляли иллюзиям старого автономного реалистического искусства аналитическое обнажение приема и затрудненность формы встроенных

в повседневную жизнь фотомонтажей. «Деконструкция мира в фотомонтаже, однако, не являлась самоцелью; она выступала необходимой предпосылкой для выстраивания связей в сознании зрителя» (с. 30). Так, концептуализация формальных особенностей монтажа у Сергея Эйзенштейна включалась в учение об эстетическом воздействии: смысловое уплотнение отдельных элементов при ослаблении связей между ними должно было захватывать и преобразовывать зрителя, причем этот опыт наделялся политическим значением, содержал идеологический посыл.

Прагматическая установка на рецепиента пронизывает и второй реконструируемый Ушакиным контекст – дискурсы, практики и медиальные формы оптического поворота. Доминирование визуальных средств смыслообразования отчасти обуславливалось низким уровнем грамотности масс и осуществлялось в рамках «широкой кампании по медиатизации советского общества» (с. 12–13). Составными частями этого процесса были возрождение издательской деятельности, популярность и «возрастающая доступность фотоаппаратуры», стремительный рост числа периодических изданий, увеличение их тиражей и жанрового разнообразия, создание советского кинематографа, расширение состава «социально значимых медийных средств» («открытки, передвижные выставки, агитационный текстиль, фарфор», «спичечные этикетки и конфетные обертки») (с. 55–66). При этом массы не только пассивно потребляли это визуальное многообразие; «партия и правительство активно стимулировали рабочие коллективы к самостоятельному освоению медийных форм» в первую очередь через создание стенгазет (с. 66). Пособия по оформлению учили подбирать иллюстрации и распределять материал в соответствии с монтажными

13 См.: БЮРГЕР П. *Теория авангарда*. М.: V-A-C Press, 2014. С. 114–128.

принципами, нацеленными на наглядность и «воздейственность содержания» (с. 71), причем необходимость ручной работы привела к тому, что «формирование нового зрения (“смотри как”) культивировалось в том числе и при помощи разнообразных телесных практик» (с. 32). В целом дискурсы и практики оптического поворота, вовлекавшие массы в потребление и производство визуальных медийных форм, «делали особенно очевидной социальную сконструированность “видения”; процесс “смотрения” оказывался технологией, которой можно было научиться» (с. 77).

Очертив этот общий фон, Ушакин осуществляет затем серию *case studies*, посвященных разным сюжетам и эпизодам из истории раннесоветского фотомонтажа. Одной из сквозных тем исследования оказывается при этом быстро развивающаяся иллюстрированная литература для детей, в которой отчетливо высвечиваются особенности, характерные для оптического поворота вообще: равноправие словесного и изобразительного рядов, взаимодополняющих и поддерживающих друг друга; идеологически нагруженный дидактизм; стремление к наглядности и действительности книги-артефакта, которая «во многом задавала эстетические установки и оптические ориентации первого советского поколения» (с. 86–87). Более того, некоторые приемы (например понятная визуализация абстрактных статистических данных) встречаются в детской литературе раньше, чем их использует литература для взрослых. Наконец, «развивающую сложность формы» одних книг уравнивала «базовая дидактическая ориентация», ведущая к «появлению упрощенного языка» других, так что «детская иллюстрированная книга», как и весь раннесоветский монтаж, «оказывалась одновременно и наследницей (радикальных) визуальных установок Пролеткульта, и колыбелью (консервативного) соцреализма» (с. 94–95).

Эти два полюса раннесоветской визуальной культуры описываются и на материале такого столь непохожего на детскую литературу центрального медиа, как газета «Правда». Анализируя первые полосы нескольких праздничных выпусков, выходявших 6–7 ноября между 1918-м и 1933 годами, Ушакин заключает:

«Абсолютное отсутствие изобразительного материала вначале постепенно сменялось активным освоением возможностей иллюстрации, которое затем быстро вырождалось в набор устойчивых визуальных клише. Многообразие превращалось в шаблон, а разноголосье – в череду ритуализированных приемов» (с. 104).

Что не отменяло при этом равноправия текста и изображения, а также важнейшей роли фотомонтажа в «организации визуального материала».

Следующую главу исследователь посвящает двум художникам, равно претендовавшим на роль «отца советского фотомонтажа». Творчество первого, Александра Родченко, «хорошо демонстрирует интермедийный (кино/фотография/текст) и интернациональный (дадаизм и Пикассо) контекст» советского фотомонтажа (с. 122). Эта линия развития была названа «рекламно-формалистической» и резко раскритикована за буржуазность Густавом Клуцисом, главой линии «агитационно-политической» (с. 123). Впрочем, его собственное подчеркнуто пропагандистское «ленинское искусство» не менее авангардно сочетало документальность и фактурность фотографий с абстракционистскими геометрическими фигурами, а теоретические рассуждения перекликались с текстами Эйзенштейна. Отдельно Ушакин останавливается на параллелях между пониманием монтажа у Клуциса и синхронными идеями советских педагогов – например, Евгении Флериной, которая отвергала «иллюзионистский реализм» иллюстриро-

ванных детских книг, противопоставляя ему реализм «упрощенный», вычленяющий и изображающий только самые существенные черты предмета.

«И педагоги, и фотомонтеры следовали общей логике оптического поворота, стремясь при минимуме выразительных форм добиваться максимального интеллектуального и эмоционального воздействия» (с. 138).

Скрещение фотомонтажной практики и новых педагогических принципов происходит в книге Ильи Лина «Дети и Ленин», вышедшей в 1924 году и проиллюстрированной Клуцисом и Сергеем Сенькиным. Пристальный анализ этой книги осуществляется на протяжении трех глав, более общей темой которых оказывается реакция на смерть Ленина и его последующий культ, запечатленные в медальных формах оптического поворота. Первые книги, откликнувшиеся на смерть вождя, ориентировались на документальность и фиксировали похороны и скорбные реакции в фотографиях и факсимиле. В «Детях и Ленине» – рассказе о неудавшейся попытке воспитанников детского дома встретиться с вождем, их последующей скорби и сохранении памяти о нем – эта же установка осложняется использованием авангардных абстрактных форм (в качестве источников Ушакин называет творчество Эля Лисицкого и Казимира Малевича). В фотомонтажах осуществляется не состоявшаяся в реальности и в вербальном нарративе встреча Ленина с детьми, причем объединяются они черными фоновыми геометрическими фигурами.

«Ритмически организованные линии (круговые, радиальные, квадратные) придавали этой виртуальной социальной связанности композиционную структуру и целостность, смыкая Ленина и детей в цепь отношений, которых не было в жизни, но которые могли бы быть» (с. 165).

Ощутимую «нехватку документальной аутентичности» должны были компенсировать факсимиле детских рукописей, однако на протяжении «книги эти средства документальной верификации превращались в еще один элемент графического дизайна», так что к финалу «рукописное присутствие детских голосов будет полностью вытеснено стандартными типографическими текстами» (с. 206, 208–209).

Воспроизводимые детские тексты были реакциями на траур по вождю. «Новый советский человек приобщался к политическому пространству через активное участие в практиках скорби и утраты» (с. 174). В книге «стремление увидеть Ленина (или его тело) сменится стремлением увидеть или создать образ Ленина» (с. 180). Комemorация вождя включала в себя бесконечное тиражирование его имени и изображений и обустройство «ленинских уголков», во что активно вовлекались дети. Медальная природа ленинского культа обнажается в одном из монтажей Сенькина, где он работает «с изображениями способов изображения политического лидера (книжная обложка, фотопортрет, газетная страница)» (с. 193). Осуществляемое в книге увязывание с помощью геометрических фигур умершего вождя и продолжающих его дело детей также реализуется, как остроумно замечает Ушакин, в октябратской звездочке, созданной в 1928 году: абстрактная форма звезды, окруженной надписью «Октябраты – внучата Ильича», оказывается фоном для изображения маленького Ленина, превращенного «в идеальную модель его собственного “внука”» (с. 200).

Обнаруженное уже в «Ленине и детях» вымывание документальности и подмена фактичности фикциональностью прослеживается и в ряде изданий конца 1920-х – начала 1930-х. В оформленном Соломоном Телингатером издании поэмы Александра Безыменского «Комсомолия» 1928 года снимается ключевое для теоретических

дискуссионное противоречие «между печатным словом и печатным образом», делая текст, наполненный шрифтовыми экспериментами, «своей собственной иллюстрацией» (с. 224–225). Другой проект Телингатера – книга 1930 года «Immer Bereit!» – имитировала «газету как форму оптической подачи», «смонтированная реальность» которой «уже не требовала документальных свидетельств и подтверждений» (с. 228). В том же году вышла оформленная Петром Суворовым книга Олега Шварца «Слет». Включенная в нее фотография, изображающая массовку на стадионе во время торжественного открытия слета, воплощает «поворот к ритуализации зрительного опыта», превращение «субъекта оптического поворота» из автора и зрителя в «средство художественного выражения» (с. 233).

В последней главе отмечается окончательное «превращение» фотомонтажа «из способа фиксации “фактов” в способ визуального производства фактов, которые могли бы иметь место» (с. 236), – например, вписывание планируемого Дома Советов в ландшафт Москвы или «реставрация» трупа, рекомендуемая в макаберной брошюре 1938 года под редакцией Андрея Вышинского. Фотомонтаж превращается в тот самый «иллюзорный реализм», которому он противопоставлялся в прошлом десятилетии; статья Клуциса в «Большой советской энциклопедии» провозглашает отказ фотомонтажа от «формалистического трюкачества» (с. 242) и сопровождается плакатом с изображением Сталина; через два года, в 1938-м, Клуцис был расстрелян.

Впрочем, финальный аккорд книги Ушакина оказывается не таким мрачным. «Навыки подвижного, аналитического и фрагментирующего восприятия, которые формировали многочисленные институты и агенты нового оптического режима» (с. 243), были вполне усвоены, о чем свиде-

тельствуют книжные и журнальные публикации разнообразных ребусов, визуальных загадок, картинок-головоломок и т. д. Наша неспособность их расшифровать говорит одновременно и об успехе, и о кратковременности раннесоветского оптического поворота.

«Вывод, который мы можем извлечь из этой истории, заключается, наверное, в необходимости последовательно отстаивать автономии выразительных средств, их разрозненность и их разно-видность» (с. 249).

Особенности ракурса, под которым Ушакин смотрит на раннесоветский фотомонтаж, можно выявить при сопоставлении с исследовательскими нарративами, о которых говорилось в начале рецензии. Так, в самой, вероятно, значительной русскоязычной монографии о монтаже Илья Кукулин предлагает историческую типологию, в которой «конструирующий» монтаж, направленный на «волюнтаристское» революционное пересоздание мира, сменяется монтажом «постутопическим», критикующим идеологии и возвращающим индивидуальную точку зрения и этическую перспективу; в любом случае монтаж здесь неразрывно связан с травматичным опытом истории XX века и либо осуществляет насилие, либо ему сопротивляется<sup>14</sup>. При всей обоснованности и продуктивности такого подхода его оборотной стороной оказывается излишняя связность и телеологичность, позволяющие при желании увидеть в исследовании Кукулина нравоучительную историю о грехопадении монтажа, связавшегося с революционным утопизмом, и о последующем искуплении через покаяние.

Ушакин тоже пишет об отражении в фотомонтаже «состояния социальной разобщенности и смысловой раздробленности» (с. 10) и, как мы видели, не обходит

**14** См.: Кукулин И. В. *Машины зашумевшего времени: как советский монтаж стал методом неофициальной культуры*. М.: Новое литературное обозрение, 2015. С. 11–55.

стороной его пропагандистские функции и трансформацию по мере наступления сталинизма. Тем не менее в целом исследователь выводит историю раннесоветского фотомонтажа из поля высокого напряжения, создаваемого большими историческими нарративами. Смещая фокус внимания с искусства на повседневную визуальность медийных форм и связанные с ними практики, Ушакин понижает ставки разговора, уходя из зоны эстетической, политической и моральной оценочности. Происходит отказ от двойного плана, от герменевтики, выдающей в монтаже симптом других, более фундаментальных, явлений. Описанные в книге артефакты, дискурсы, практики и процессы лежат в одной плоскости и означают в первую очередь самих себя. Работа интерпретации состоит в обнаружении связей, переключек, общих рамок, группирующих изучаемые феномены, разнонаправленная динамика которых не описывается одной общей формулой. Исследовательская оптика настроена на крупный план, и почти без исключений предельным горизонтом оказывается описываемый раннесоветский период, не превращающийся, как и прием монтажа, у Ушакина в знак чего-то другого.

Указанные эпистемологические принципы организуют и само письмо исследователя, в котором метаязык научного толкования не размежевывается с языками описываемыми. Напротив, Ушакин целенаправленно их смешивает: цитируя советские тексты о монтаже или воспитании детей, он вычленяет из них емкие понятия или эффектные сравнения и повторяет их уже в собственной речи, где они чередуются с терминами и цитатами из работ Деррида, Фуко, Фрейда или Лакана, ни один из которых не упоминается в основном тексте. Постоянное переплетение, говоря языком антропологии, эмических и этических категорий, интерпретация культуры,

в том числе ее собственными средствами, размывает границы между пониманием и самопониманием, препятствуя иерархическим отношениям между исследователем и исследуемым материалом.

Эти методологические установки позволяют Ушакину высветить редко схватываемый историческими и искусствоведческими подходами срез текучих повседневных практик, оформляющих исторически изменчивую чувствительность. Подобно тому, как в работе Майкла Баксандалла погружение флорентийской ренессансной живописи в контекст религиозных, светских и коммерческих практик приводит к обнаружению «взгляда эпохи», специфических способов упорядочивания визуального опыта<sup>15</sup>, рецензируемая книга реконструирует явление, как минимум не менее значимое, чем неоднократно обсуждавшаяся связь авангарда с насилием: раннесоветскую культурную революцию, реализуемую на уровне субъекта и его жизненного мира, полноты его чувств и опыта. При этом новый оптический режим, изменившиеся способы зрения мало отложились в источниках, Ушакин оперирует косвенными данными прескриптивных дискурсов и медиальных форм, так что мы скорее *догадываемся* о существовании незафиксированного, но конститутивного для раннесоветских людей специфического визуального опыта. Для первого советского поколения он начинался еще в раннем детстве и определял базовые техники тела и когнитивные навыки, входившие в самый центр субъектности. Как нам мыслить этот ускользающий опыт? Как соотносить с другими, лучше задокументированными, сюжетами раннесоветской истории? И что он сообщает про советский проект 1920-х годов, создававший «нового человека», пропагандистски его обрабатывавший и одновременно побуждавший к политической субъективации,

**15** См.: Баксандалл М. *Живопись и опыт в Италии XV века: введение в социальную историю живописного стиля*. М.: V-A-C Press, 2019. С. 44–146.

к самостоятельной деятельности, в том числе творческой?

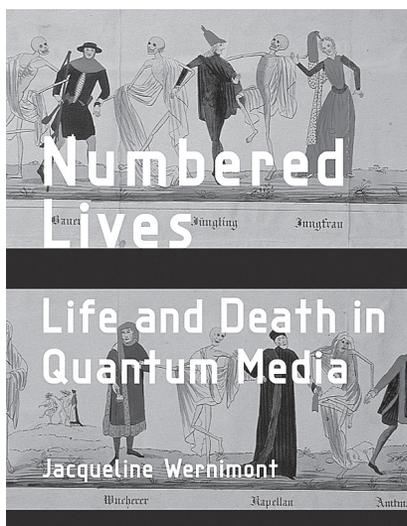
Приводящая к этим вопросам книга Сергея Ушакина не только ярко написанная, полная тонких наблюдений и остроумных разборов работа о раннесоветском фото-монтаже, но и чрезвычайно убедительный и важный по методологическим установкам и исследовательскому языку опыт нюансированного описания комплексной социокультурной ситуации 1920-х годов в целом.

Олег Ларионов

### ***Numbered Lives: Life and Death in Quantum Media***<sup>16</sup>

JACQUELINE WERNIMONT

Cambridge: MIT Press, 2019. – 240 p.



В 2007 году редакторы американского издания о технологиях «Wired» Кевин Келли и Гэри Вулф ввели термин *quantified self* (QS), который обозначает идею самопознания

через количественные показатели. Став не просто идеей, а движением, QS приобрело популярность, и вскоре многие люди начали обращаться к фитнес-трекерам и другим устройствам в попытке познать себя. Участники этого неформального движения предлагают использовать устройства для селф-трекинга, чтобы узнать свои циклы сна, пульс, давление и другие показатели здоровья, чтобы получить более полную картину о себе.

Движение QS обещает знание с помощью лайфлоггинга – фиксации информации о повседневности человека на цифровой носитель – и во многом позиционируется как новшество, ставшее возможным только благодаря цифровым устройствам. Распространение носимых устройств и окружающий их маркетинг сделали идею селф-трекинга частью рыночной идеологии без дополнительного идейного багажа, присущего самому движению QS.

Однако за кажущейся новизной подобных устройств лежит длинная и разветвленная история взаимосвязи разных способов подсчета и учета телесности. Именно подобную историю и пытается предоставить Жаклин Вернимон в работе «Исчислимые жизни: жизнь и смерть в количественных медиа». Ее книга посвящена истории того, каким образом количественные медиа – технологии, медиатизирующее телесность (шагомеры, пedomетры, счетчики времени), – создают знание, благодаря которому люди начинают осознавать себя иначе, чем прежде.

Вернимон пытается понять, как медиатизируется телесность индивидов в двух аспектах – жизни и смерти. Среди таких количественных медиа в книге – разные версии пedomетров и шагомеров, переписи населения в США, счета смертности, кото-

**16** Рецензия публикуется в рамках партнерского проекта «Неприкосновенного запаса» с клубом любителей интернета и общества. Клуб – неформальное объединение исследователей, которые занимаются интернетом. В работе клуба участвуют академические ученые, художники, журналисты, студенты, ИТ-специалисты и активисты.

рые создавали во время чумы в Лондоне в XVII веке и судовые регистры, используемые в колониальных предприятиях Британской империи. Соединяя воедино эти разрозненные истории, Вернимон пытается реконструировать то, как количественные медиа медиатизируют телесность, чтобы получить знания для самопознания одних индивидов, контроля и наблюдения над другими и для реализации более масштабных политических проектов построения государственности и империй.

Чтобы понять работу Вернимон, важно подробнее обсудить используемый там теоретический подход. В своем анализе она предлагает смотреть на количественные медиа как на перформативные в понимании виталистской и материалистической феминистской оптики (это обращение к таким авторам, как Карен Барад и Джейн Беннетт). Медиа здесь понимаются не только как носители информации, но также учитывается их роль в трансформации проживаемого субъектами опыта. Вернимон предлагает замечать, каким образом множество способов медиатизации телесности способствуют совместному становлению человека и технологии (*human-techno becomings*).

Каждая медиатизация не нейтральна и не пассивна, а скорее перформативна: она как добавляет, так и убирает, трансформирует и скрывает разные аспекты проживаемого телесного опыта. К примеру, таблицы смертности формировали повседневный опыт людей, поскольку на основе таких таблиц лондонские элиты принимали решение, стоит ли им отправиться за город.

Более того, в актах медиатизации вписаны социальные различия, которые затем и воспроизводятся количественными медиа, поэтому их история наполнена гендерными, расовыми и колониальными сюжетами. Для одних групп возможность подсчитать свой или чужой телесный опыт выступала как маркер привилегий и позволяла им заботиться о собственном здоровье, про-

изводить учет рабочей силы или рабов, прибавлять знание о себе. Для других же групп количественные медиа работали иначе: подсчет в их жизни либо отсутствовал, либо осуществлялся извне для надзора (*surveillance*) и воспроизводства существующих различий.

Таким образом, то, как количественные медиа медиатизируют телесность, зависит от того, о каких телах мы говорим. Доступ к знанию, приобретаемому через медиа, не только распределен неравным образом, но также и сами медиа имеют различный перформативный эффект на социальные группы. Таким образом, количественные медиа оказываются как источником, так и результатом производства расовых, гендерных и колониальных различий – а то знание, которое производится в результате медиатизации количественными медиа, распределяется не одинаково и возвращается одним в виде надзора, а другим – как новое знание о них самих. Это же и приводит к укреплению власти последних как знания не только о себе, но и об окружающем мире, включая знание о тех группах, для которых количественные медиа предстают формой надзора и контроля.

Книга разделена на две части, соответствующие обозначенным темам – учету смерти и подсчету жизни. В первой части Вернимон рассматривает историю того, как учитывалась смертность в Лондоне XVII и XVIII веков. Там она показывает, что в таблицах смертности, которые отправлялись британскому монарху и публиковались в газетах, отражались смерти только христианского, белого и состоятельного мужского населения. Происходило это из-за того, что административно Лондон того времени делился на церковные приходы, которые и регистрировали умерших, из-за чего в статистику попадали только христиане.

Помимо этого, необходимость в подобной статистике для государства в то время была связана с мониторингом экономичес-

кого состояния страны – поэтому в статистике смертности учитывались только «свободные люди», то есть богатые и белые мужчины, имеющие право владеть землей. В то же время подсчет жертв чумы был гендерно окрашен не только в том отношении, кого подсчитывали, но и в том, кем осуществлялся этот подсчет. Преимущественно это была работа для бедных женщин, которые не могли устроиться слугами. Такая деятельность хорошо оплачивалась, но несла большие риски для здоровья.

«Формальные качества счетов смертности – плотное пространственное расположение, повторяющаяся табличная форма, алфавитные категории заболеваний и количественная оценка по видам – работали на то, чтобы произвести смерть как лишнюю эмоцию, рутинную и даже отдаленную от повседневности категорию» (р. 37).

Вернимон называет подобную организацию знания «эстетическим рационализмом» – она позволяла создавать понятное, прозрачное и стройное понимание фиксируемого в таблицах феномена, производя «удовольствие от рационального контроля» для наблюдателя, при этом стирая стоящий за сбором данных труд (р. 29).

Исторический анализ производства статистики о чумной смертности сосуществует с анализом самой формы репрезентации данных, чтобы продемонстрировать, как эти два аспекта совместно медиатизировали смерть во время чумы. Эти же цифры, напечатанные в газетах, тем самым предлагали публике опыт отдаленного и опосредованного столкновения со смертью в виде обзорного взгляда на цифры – но эта статистика также являлась результатом тонкой работы по репрезентации, в которой учитывалась тела лишь определенной социальной группы, исключаяющей все остальные. Статистика смертности населения как количественные медиа в дальнейшем была перенесена в английскую политическую арифметику – на-

пример в работы Джона Граунта и Уильяма Петти – и была использована для государственного и имперского управления.

Развивая тему переносимости форм количественных медиа в другие контексты, «Исчисляемые жизни» описывают, каким образом таблицы такой же формы позволяли учитывать «агентов» и «активы» британских колониальных предприятий. Если богатые торговцы в судовых декларациях и регистрах фиксировались как «агенты», то небелые тела рабов классифицировались как «активы», «груз». В судовых документах тела распределялись в соответствии с их ценностью и заданными социальными различиями. С рождением и развитием индустрии страхования, фиксирует Вернимон, те же различия были воспроизведены в документах страховых компаний, которые определяли стоимость возможных рисков через их соотношение с оцениваемыми телами.

Переписи населения в США в первой половине XIX века выполняли схожую функцию. В них закреплялись такие расовые категории, как «гражданин США», «свободные цветные люди», «рабы», «иностранцы», что способствовало становлению категории *населения* как предмета политического управления. Такие таблицы расчерчивали возможные идентичности через создание категорий, с которыми гражданин мог идентифицироваться. В рамках таких категорий определенные тела – к примеру, людей, родившихся в смешанных браках, – оставались вне учета. Возможность существования определенных идентичностей (например «мулатов») и межрасовых браков не была предусмотрена американскими переписями населения до 1850 года.

Как пишет Вернимон, формат таблицы играл свою роль и в больших политических проектах вроде британского империализма. Так, формат таблицы, изначально появившийся как медиа-инновация в период эпидемии чумы, был перенесен в другие контексты, чтобы закреплять правовую и

налоговую ответственность перед короной за разными агентами, участвующими в проекте трансатлантического империализма. Эти таблицы еще и медиатизировали телесность, организуя проживаемый индивидами опыт в целях национального и имперского строительства, как было с переписями населения.

Во второй части книги Вернимон переходит к анализу подсчета жизни. Там она показывает, каким образом история измерения жизнедеятельности – например, пройденных шагов – служила задачам картографии территорий на суше и на море в процессе создания «имперских территориальных систем власти» (р. 114). Историю шагомеров можно отсчитывать от конца XV века, и долгое время это устройство оставалось инструментом на службе государственных интересов и предметом обихода мужчин, которые обращались к нему как к способу самопознания и наблюдения за собственным здоровьем. При этом шагомеры также использовались женами для наблюдения за мужьями или за работниками. Такое самопознание имеет истоки в раннем Новом времени и связано как с религиозными идеями и практиками, так и с культурой осмысления и понимания себя через нарративы – здесь Вернимон отсылает к «Опытам» Монтеня как одному из первых документов такой культуры.

Сохраняя некоторую дистанцию по отношению к книге, стоит взглянуть на вклад «Исчислимых жизней» в разные исследовательские поля. Во-первых, Вернимон обогащает историю и социологию квантификации – предмета значительного интереса со стороны исследований науки и технологии (STS) и критических исследований данных (*critical data studies*)<sup>17</sup>. Ряд авторов предше-

ствующих работ, посвященных практикам селф-трекинга и движению QS, пытались понять, какие исторически трансформации в социальном понимании роли данных предшествовали современному интересу к измерению себя. В этом аспекте работа Вернимон позволяет расположить истоки селф-трекинга в религиозных, капиталистических и колониальных идеологиях и практиках раннего модерна, в то время как большинство работ склонны начинать отсчет с изобретения педометров в XIX веке.

Во-вторых, Вернимон удачно соединяет внимание к преобразующей, перформативной стороне вычислительных медиа с историческим анализом, вдохновленным подходами из медиа-истории и археологии медиа через понятие «стратегического формализма», которое и организует предлагаемую Вернимон интерпретацию количественных медиа в книге. Стратегический формализм, с точки зрения Вернимон, это подход, позволяющий говорить «о постоянстве отдельных формообразующих паттернов, идентифицируемых переплетениях и структурировании категорий в количественных медиа» (р. 4).

Таким образом, стратегический формализм позволяет ухватить, как определенные медиатизации телесности сохраняли свою форму во времени, несмотря на смену контекстов. Таблицы смертности и трекееры активности как формы мало изменились с XVII века по 1960-е годы. В качестве форм они преодолевали пространство и время в анализе Вернимон, но при этом производимое ими значение для индивидов менялось. В историческом описании метод стратегического формализма фокусируется одновременно на двух вещах. С одной стороны, такой анализ сосредоточен на

**17** См. обзорную статью о социологии квантификации: MENNICKEN A., ESPELAND W.N. *What's New with Numbers? Sociological Approaches to the Study of Quantification* // *Annual Review of Sociology*. 2019. Vol. 45. P. 223–245. Одной из главных работ в поле критических исследований данных можно считать: BOYD D., CRAWFORD K. *Critical Questions for Big Data: Provocations for a Cultural, Technological, and Scholarly Phenomenon* // *Information, Communication & Society*. 2015. Vol. 15. № 5. P. 662–679.

стабильности формы медиа, пересекающих разные контексты, а с другой, – стремится запечатлеть, как стабильные формы организовывали и структурировали отношения между подсчетом, телами и бюрократическими структурами.

Помимо исследовательского значения, работа Вернимон притягивает наше внимание к способу репрезентации данных и производимых ею эффектов и аффектов. Табличная форма, ставшая достаточно универсальным способом работы с данными и освоенная современным программным обеспечением, теперь может быть понята не только как исторически контингентная, но и как связанная с властными отношениями и производящая определенное отношение к объекту репрезентации, в котором нет места эмоциям.

И финальный призыв автора – культивировать альтернативные количественные медиа, которые не конструировали бы подобной прошлым дистанции между числом и переживаемым опытом, а вовлекали бы эмоции, – кажется понятным призывом. Представленный в книге анализ, чувствительный к дискриминируемым группам, также показывает, что недостаточно просто включить эти группы в статистику и набор данных. Ведь в таком случае необходимо учитывать динамику социальной видимости: иногда быть учтенным в данных полезно для дискриминируемых групп, а в других – лишь приведет к увеличению контроля.

Самым проблематичным моментом в книге мне видится вопрос исторической соизмеримости изучаемых объектов: насколько фитнес-трекеры смарт-часов действительно похожи на пedomетры? Вернимон частично отвечает на это затруднение:

«Узко сфокусированный, формальный или исторический подход в случае количественных медиа связан с риском прийти к выводам, что женщины не были активны в математике, афроамериканцы не были

частью фитнес-мании середины века, а европейские колонисты даровали количественные медиа коренным народам Америки» (р. 5).

Но при таком анализе, сосредоточенном на множестве объектов, само понятие «количественные медиа» ускользает. Если это технология, фиксирующая аспекты жизни и смерти, то могут ли, к примеру, тонометры быть их частью? Такая критичная позиция по отношению к периодизации и линейной истории встречается с вопросом о том, насколько между изучаемыми объектами и правда больше схожего, нежели отличного.

На основании какого критерия мы как исследователи можем считать смарт-часы и пedomетры соизмеримыми и находящимися в отношениях преемственности? И что же в таком случае, напротив, позволит указать на разрывы и радикальные изменения в том, чем были и являются количественные медиа? Хотя Вернимон и предлагает обоснование новых точек исторического анализа, ее работа дает меньше соображений по поводу того, как работать с вопросом преемственности и разрывов в историческом письме о медиа.

Таким образом, хотя в отношении книги Вернимон и есть сомнения в способе историзации объектов, это не ставит под сомнение качество проведенного анализа. «Исчисляемые жизни» – удачное сочетание исторического и социологического анализа, меняющего отношение к современным процессам превращения множества аспектов мира в данные и информацию.

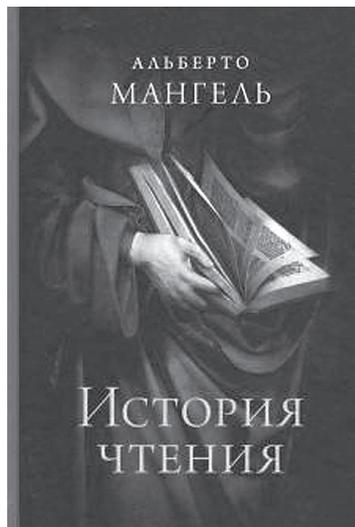
ДМИТРИЙ МУРАВЬЕВ

## Чудо, доступное каждому

### История чтения

АЛЬБЕРТО МАНГЕЛЬ

СПб.: Издательство Ивана Лимбаха,  
2020. – 432 с.



В 1983 году на киностудии «Киевнаучфильм» сняли замечательный мультфильм под названием «Жили-были мысли». Сегодня об этом десятиминутном ролике мало кто помнит, но в Интернете, как известно, ничего не теряется, и любой желающий без труда может его отыскать<sup>18</sup>. Причем если вы не поленитесь посмотреть его, то миниатюрная анимация обязательно запомнится, а то и вовсе войдет в разряд ваших любимых. «Однажды давным-давно на большом дереве жили-были... мысли!» – так начинают рассказ авторы. В своей роскошной работе, посвященной человеческой привязанности к книге и чтению, многолетний директор Национальной библиотеки Аргентины словно вторит – разумеется, не сговариваясь, – украинским кинематографистам. Ибо он предлагает нам похожий и столь же увлекательный рассказ о том,

как однажды в стародавние времена люди чудесным образом обрели умение читать. Предлагаемая им история-приключение тянется сквозь века, но населяют ее вполне реальные герои; чтение же в глазах автора предстает живым процессом, наполненным пульсацией и трепетом, который, даже модифицируясь с течением веков, сохраняет свое непреходящее значение для человечества и его культуры.

Альберто Мангель, сын дипломата, родившийся в Аргентине, но имеющий канадское гражданство, провел детство в Израиле. Вернувшись в Буэнос-Айрес, он волею случая познакомился с Хорхе Луисом Борхесом и более того – стал его личным чтецом. Потом, объехав весь земной шар и сделавшись всемирно известным переводчиком, писателем, журналистом, а также лауреатом столь уважаемых литературных наград, как премия Медичи и стипендия Гуггенхайма, Мангель возвращается в Аргентину. В 2016 году ему предложили возглавить Национальную библиотеку в Буэнос-Айресе – престижнейшее учреждение, которым в разные годы руководили Борхес, Орасио Гонсалес и другие видные интеллектуалы. Заняв этот пост, Мангель всецело сосредоточился на главной миссии своей жизни: распространении и утверждении идеи о том, что чтение есть не обыденное умение, а чудесный дар, которым надо уметь пользоваться.

Согласно автору, научившись читать, человек, сам о том не подозревая, становится членом великой «семьи читателей», которую объединяет общее для всех искусство. Чтение букв на странице – лишь одна из его граней, поскольку толкование знаков может облекаться в самые разнообразные формы. Астроном, читающий карту звездного неба; зоолог, читающий следы животных в лесу; карточный игрок, читающий мимику своего партнера; танцор,

<sup>18</sup> См.: [www animator.ru/db/?p=show\\_film&fid=3538](http://www animator.ru/db/?p=show_film&fid=3538).

читающий указания хореографа, – все эти люди владеют одним и тем же умением толкования знаков. Некоторые из знаков целенаправленно создаются человеческим разумом, а другие случайно творятся природой, но и в том и в другом случае им требуется читатель. Именно он приписывает системе знаков какое-то значение и впоследствии дешифрует ее. Иначе говоря, согласно автору, чтение предстает главной жизнеутверждающей и смыслообразующей практикой: оно необходимо человеку так же, как дыхание.

Мангель отмечает, что люди научились писать намного позже, чем овладели навыками чтения. Исходя из его логики если без письма прожить можно, то без чтения – нет. Автор ссылается на мнение этнолога Филиппа Десколы, утверждавшего, что общества, не имеющие письменности, обладают линейным чувством времени, в то время как в обществах, ставших грамотными, чувство времени кумулятивно; но при этом социумы обоих типов, переживая время по-разному, вынуждены читать множество знаков, которые предлагает им мир. Даже там, где письменность постепенно появлялась, чтение предшествовало письму. Становясь писцом, мусульманский, христианский, иудейский юноша должен был сначала научиться распознавать и расшифровывать систему знаков, принятую в его обществе, – и лишь потом мог пользоваться ею для письма. В образованных социумах чтение оказывалось первым шагом на пути к социализации, а умение читать становилось своеобразным пропуском в жизнь.

Книги преобразуют жизненный опыт читающего человека. Сталкиваясь с обстоятельствами или персонажами, похожими на что-то, уже встречавшееся в текстах, мы испытываем интересное, но слегка разочаровывающее ощущение *déjà vu*. Автору в таких ситуациях казалось, будто он переживает происходящее, описывая его чужими словами. Позже он понял, что этот фе-

номен знаком всем вдумчивым читателям. В этой связи Мангель вспоминает о своем разговоре с канадским эссеистом Стэном Перски, который сказал ему, что «у настоящего читателя миллион автобиографий», поскольку в каждой новой книге каждый из нас находит что-то из собственной жизни. И тут же, подтверждая это наблюдение, автор цитирует Вирджинию Вулф:

«Если год за годом перечитывать “Гамлета” и записывать свои впечатления, получится, что мы записываем автобиографию. Потому что с годами мы узнаем о жизни все больше, а Шекспир лишь комментирует то, что мы знаем» (с. 14).

Сам автор разворачивает этот подход несколько необычным способом: по его словам, если все книги являются автобиографиями, то таковыми они были и изначально – а отсюда следует, что в жизни того или иного человека реально могло случиться то, о чем раньше он читал у Льюиса Кэрролла или Мигеля де Сервантеса. Такую установку, по мнению Мангеля, блестяще выразил Жан-Поль Сартр:

«Платоник в силу обстоятельств, я шел от знания к предмету. Идея казалась мне материальнее самой вещи, потому что первой давалась мне в руки и давалась как сама вещь. Мир впервые открылся мне через книги, разжеванный, классифицированный, разграфленный, осмысленный» (там же).

Эта книга убеждает в том, что чтение – глубоко интимный процесс, в котором свою роль играют не только такие, казалось бы, несущественные вещи, как выбранное для чтения место или поза читающего, но и то, с кем прочитанное обсуждается. Настоящие интеллектуалы, говорит Мангель, редко обсуждают извлеченное из книг с незнакомцами; для того, чтобы делиться своими литературными пристрастиями, нужно доверять. В старину люди уединялись для чтения: обычай требовал читать вслух, а

чтец опасался, что его подслушают – иногда он читал шепотом. Лишь столетия спустя в обиход вошла практика беззвучного чтения: то, что называется «читать про себя». Когда в проповеди, произнесенной в 349 году, святой Кирилл Иерусалимский попросил собравшихся в церкви «читать тихо, чтобы лишь губы шевелились и никто не мог бы расслышать слов», его призыв скорее всего прозвучал довольно необычно. После этого потребовались несколько веков, чтобы подготовить и реализовать переход от чтения вслух сначала к чтению шепотом, а потом и к нынешнему беззвучному чтению.

В отличие от многих специалистов, Мангель уверен, что, несмотря на нынешнюю экспансию электронных книг, многие люди по-прежнему зависимы от печатных изданий, горячо ценят их и не желают с ними расставаться. Книжный том, со специфической текстурой бумаги и пахнущий по-особому, «с выдохшей слезинкой на странице и следом от чашки кофе на обложке», привязывает к себе человека. Мангель утверждает, что эпистемологический закон чтения, выведенный еще во II веке – более поздний текст всегда замещает предшествующий, – не действует на современного читателя. Если в раннем Средневековье писцы зачастую исправляли ошибки в текстах, которые переписывали, таким образом совершенствуя их, то для нынешнего читателя то издание, в котором он читал книгу в первый раз, становится *editio princeps* – и все последующие издания сравниваются с ним. Книгопечатание создает иллюзию, будто все читатели «Дон Кихота» читали одну и ту же книгу, но, по мнению автора, это обманчивое впечатление: «Я ощущаю это так, словно книгопечатание так и не было изобретено и каждый экземпляр книги является уникальным, словно Феникс» (с. 22).

О созидательном потенциале чтения красноречиво говорит пример, заимство-

ванный автором с Кубы XIX столетия. Владелец одной из местных сигарных фабрик обратил внимание на то, что механическое скручивание табачных листьев отупляет рабочих. Чтобы как-то облегчить их труд и повысить производительность, хозяин решил пригласить на свое предприятие чтеца-декламатора. Чтение вслух, по его замыслу, должно было переключать мозг рабочего, отвлекать его и погружать в эмоциональные переживания о судьбах книжных героев, учить обдумывать чужие мысли и самостоятельно делать выводы. По согласованию с рабочими материалом для чтения служили и политические трактаты, и романы, и стихи. «По словам очевидцев, чтение проходило в глубоком молчании, вопросы и комментарии до окончания сеанса воспрещались» (с. 138). Спустя несколько лет после начала эксперимента рабочие наизусть цитировали полюбившиеся стихи, а также пересказывали романы, снабжая их дополнениями и вставками, созвучными с их собственными переживаниями. Огромное впечатление на слушателей-пролетариев произвел «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма: в 1870 году группа рабочих даже обратилась с письмом к автору, прося у него разрешения назвать именем полюбившегося героя продукт своего кропотливого труда. Писатель благосклонно согласился – так мир увидел новый сорт сигар «Граф Монте-Кристо», сохраняющий свою популярность и в наши дни. Иначе говоря, одна история породила другую, продолжив себя уже не на бумаге, а в самой жизни. По мнению Мангеля, в подобных публичных действиях творится новая манера чтения, о которой размышлял еще блаженный Августин. Суть ее в том, чтобы «не использовать книгу в качестве опоры для мысли, не доверять ей, как можно довериться авторитету мудреца, но брать из нее идею, фразу или образ и связывать с другим текстом, хранящимся в памяти» (с. 82). Таким путем на свет может появиться-

ся новый текст, всецело принадлежащий самому читателю – и потому еще более для него ценный.

Внимание читателя, несомненно, привлекает и еще одна история на ту же тему. Как сообщает Мангель, поскольку целью талмудистов школы ашкенази было толкование текста «в поисках всех возможных значений», их литература «создавала самовосстанавливающиеся тексты, в которых каждая последующая редакция не замещала, а скорее включала в себя предыдущую» (с. 112). В процессе чтения такой ученый использовал одновременно четыре смысловых уровня, которые именовались «буквальным смыслом» (пшат), «ограниченным смыслом» (ремез), «разумным усложнением» (драш) и «окультурным смыслом» (сод). Из-за подобной многозначности чтение превращалось в бесконечную процедуру, не знающую завершения. Когда хасидского вероучителя рабби Леви Ицхака, жившего в XVIII веке в Бердичеве, спросили, почему в каждом из трактатов Вавилонского талмуда отсутствует первая страница, тот ответил: «Потому что, сколько бы страниц человек ни прочел, он не должен забывать, что до первой страницы пока не добрался» (с. 113). Еврейские мудрецы словно помогают Мангелю заново сформулировать излюбленную мысль: один и тот же текст действительно можно читать без конца, а смыслы, открываемые в нем в разное время одним и тем же человеком, будут отличаться.

Среди методов работы с текстом, применяемых талмудистами, было и использование гематрии – системы, при которой буквам священного текста присваиваются цифровые эквиваленты. Завороженный этой методикой автор показывает, как она работает, обращаясь к семнадцатой главе Книги Бытия. На иврите имя «Исаак» пишется четырьмя буквами, которые соответствуют русским И, Ц, Х, К, а также цифрам 10, 90, 8 и 100. Опираясь на подоб-

ную корреляцию, талмудист рабби Шломо Ицхак, живший в XI веке, проанализировал реакцию Авраама, повергнутого в трепет сообщением о том, что его престарелая жена Сара скоро родит ему сына Исаака. Предпринятая им дешифровка интерпретировала содержащийся в священных текстах ответ Авраама Богу следующим образом:

«Неужто будет у нас ребенок после десяти лет ожидания? Ей девяносто лет! Ребенок, который должен быть обрезан на восьмой день? От меня, которому уже сто лет?» (с. 113).

Союз буквы и цифры, согласно Мангелю, еще более обогащает чтение, придавая ему новые грани и насыщая новыми смыслами.

Автор настаивает, что история чтения есть сугубо автономный процесс, который невозможно механически соотнести ни с политической историей, ни с историей литературы. Вместе с тем сам феномен чтения в различных его вариациях сказывался и на том и на другом. В смысле политическом чтение на определенном этапе своей эволюции сделалось одним из атрибутов свободы. Рассуждая в этой связи об американском рабстве, Мангель напоминает, что рабовладельцы всегда были категорически против того, чтобы «живой товар» обучали грамоте. Рабы же в свою очередь догадывались, что способность читать может в какой-то момент оказаться билетом в лучшую жизнь – и, подготавливая себя к освоению этого волшебного искусства, заучивали на память тексты, услышанные во время публичного чтения вслух в хозяйских гостиных. В настороженном и подозрительном отношении к чтению плантаторы-южане были, разумеется, не одиноки; многие поколения диктаторов, угнетателей и тиранов знали, что справиться с неграмотными подданными гораздо легче, чем с образованными. Поскольку человек, единожды освоивший навык чтения, никогда уже с ним не расстанется, в ка-

честве превентивной меры следует прятать от него букварь, а уж если сделать этого не удалось, тогда необходимо строго ограничивать круг чтения, доступный обывателям. Опираясь на эту очевидную и практическую мудрость, тоталитарные режимы всех времен и народов боролись с неугодными книгами с самой крайней свирепостью: абсолютная власть всегда требовала, требует и будет требовать, чтобы вся доступная гражданам литература была официально одобренной. Ведь слово правителя, как известно, способно заменить целую библиотеку книжных оценок и мнений.

Такая постановка вопроса, говорит читателю Мангель, объективно превращает практику регулярного и разностороннего чтения в инструмент, без овладения которым борьба за свободу невозможна. Рассуждая о книге и чтении как орудиях освобождения, автор весьма к месту цитирует Франца Кафку:

«Я думаю, что мы должны читать лишь те книги, что кусают и жалят нас. Если прочитанная нами книга не потрясает нас, как удар по черепу, зачем вообще читать ее? Скажешь, что это может сделать нас счастливыми? Бог мой, да мы были бы столько же счастливы, если бы вообще не имели книг. Книги, которые делают нас счастливыми, могли бы мы с легкостью написать и сами. На самом же деле нужны нам книги, которые поражают, как самое страшное из несчастий, как смерть кого-то, кого мы любим больше себя, как сознание, что мы изгнаны в леса, подальше от людей, как самоубийство. Книга должна быть топором, способным разрубить замерзшее море внутри нас» (с. 117).

Произведение Альберто Мангеля учит искать именно такие книги и прорабатывать их. Его неслучайно перевели на десятки языков; оно покорило тысячи и тысячи читателей. Разумеется, автор, с его чутким отношением к слову, не может не осознавать тех рисков, которые влечет за собой переложение текста, написанного на одном языке, на другой, а также издержек, с этим связанных. Но одновременно перевод способен приносить и баснословные выгоды, предоставляя книге новое жизненное пространство и совершенствуя самого читателя.

«Перевод может быть чем-то невероятным, предательством, мошенничеством, изобретением, обнадеживающей ложью. Но в любом случае он делает читателя более мудрым, лучшим слушателем, менее безапелляционным, гораздо более чувствующим» (с. 333).

Что касается русского издания «Истории чтения», подготовленного Марией Юнгер, то ее перевод практически идеален и, самое главное, предоставляет читателю возможность с головой погрузиться в талантливо написанную историю. Переводчица внесла заметный вклад в то, чтобы эта необычная книга, в которой знакомая, казалось бы, тема расцвечивается новыми красками, историями и цитатами, сохранила бы свое очарование и на русском языке. И, если в вашей библиотеке Мангеля еще нет, постарайтесь срочно восполнить этот пробел – поверьте, вознаграждение будет огромным. Закончу же перефразированными словами Гюстава Флобера, с которых эта книга начинается: «Читайте, чтобы жить!».

РЕЗА АНГЕЛОВ